# Курортник

**Автор:**
Герман Гессе

Курортник

Герман Гессе

Эксклюзивная классика (АСТ)

Герман Гессе известен как блистательный рассказчик, истинный интеллектуал и наблюдательный психолог, необычные сюжеты романов которого поражают с первой страницы. Но в этом сборнике перед читателем предстает другой Гессе – Гессе, анализирующий не поступки выдуманных героев, а собственную жизнь.

Знаменитый «Курортник» – автобиографический очерк о быте курорта в Бадене и нравах его завсегдатаев, куда писатель неоднократно приезжал отдыхать и лечиться. В «Поездке в Нюрнберг» Гессе вспоминает свое осеннее путешествие из Локарно, попутно размышляя о профессии художника и своем главном занятии в летние месяцы – живописи. А в «Странствии», впервые публикуемом на русском языке, он раскрывается и как поэт: именно в этих заметках и стихах наметился переход Гессе от жизни деятельной к созерцательной.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

Герман Гессе

Курортник (сборник)

Hermann Hesse

WANDERUNG

KURGAST

DIE NURNBERGER REISE

Перевод с немецкого: В. Курелла («Курортник»), С. Апта («Поездка в Нюрнберг»), Ю. Волковой и Н. Симон-Эристави («Странствие»)

© All rights reserved by Suhrkamp Verlag Berlin

©?Перевод. В. Курелла, наследники, 2021

©?Перевод. С. Апт, наследники, 2021

©?Перевод. Ю. Волкова, 2021

©?Перевод. Н. Симон-Эристави, 2021

© Издание на русском языке AST Publishers, 2021

Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

* * *

Герман Гессе (1877–1962) – выдающийся немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1946 года за вдохновенное творчество и блестящий стиль. Его проза, вдохновлявшая и продолжающая вдохновлять поколения интеллектуалов, не подлежит старению. Еее можно перечитывать бесконечно, снова и снова, совершая удивительные открытия.

# Курортник

## Предисловие

Праздность – мать всякой психологии.

Ницше

О швабах говорят, что они умнеют лишь к сорока годам, и сами, не очень-то самоуверенные, швабы подчас усматривают в этом нечто постыдное. Тогда как, совсем напротив, им оказывают великую честь, ибо подразумеваемый поговоркой ум (собственно, не что иное, как то, что молодежь именует также «стариковской мудростью», представление о великих антиномиях, о тайне круговорота и биполярности) даже у швабов, как они ни одарены, надо полагать, весьма редко встречается и среди сорокалетних. А вот поближе к пятидесяти, одарен ты или нет, эта самая мудрость, или стариковский склад ума, приходит сама собой, в особенности если этому еще способствует начавшееся телесное старение со всякими немощами и недугами. К наиболее распространенным из таких недугов относятся подагра, ревматизм и ишиас, и как раз эти заболевания и приводят нас, курортников, сюда, на воды в Баден. Так что окружающая среда как нельзя более благоприятствует тому складу ума, к которому приобщился сейчас и я, и здесь, как мне кажется, ты сам собой, ведомый genius loci[1 - Местный гений (лат.).], приходишь к некой скептической вере, простодушной мудрости, очень тонкому искусству все упрощать, очень интеллигентному антиинтеллектуализму, что наряду с теплом принимаемых ванн и запахом серной воды и составляет специфику Бадена. Словом, нам, курортникам и подагрикам, крайне важно сглаживать в жизни острые углы, смотреть сквозь пальцы, не строить себе больших иллюзий, но зато пестовать и лелеять сотни маленьких и утешительных. Нам, курортникам в Бадене, сдается мне, особенно необходимо представление об антиномиях, и чем неподвижнее становятся у нас суставы, тем настоятельнее требуется нам эластичный, двусторонний, биполярный образ мышления. Наши страдания бесспорно истинны, но они не принадлежат к тому роду героических и картинных страданий, которые страдалец, не теряя нашего уважения, вправе раздувать до мировых масштабов.

Когда я так говорю, когда собственный образ мышления пожилого человека и ишиатика возвышаю до типического, до общей нормы, когда делаю вид, будто выступаю здесь не только от своего имени, но и от имени целой категории людей и возрастной группы, то хотя бы мгновениями все же отдаю себе отчет, что это – великое заблуждение и что ни один психолог (разве что он мне брат и близнец по духу) не сочтет мою душевную реакцию на окружающий мир и судьбу нормальной и типической. Всего вероятнее, он, после краткого выстукивания, признает меня сравнительно одаренным, не требующим изоляции бирюком из семейства шизофреников. Тем не менее я преспокойно пользуюсь обычным правом всех людей, в том числе и психологов, и переношу не только на людей, но даже на окружающие меня вещи и явления, больше того – на весь мир свой образ мышления, свой темперамент, свои радости и горести. Считать свои мысли и чувства «правильными», считать их оправданными – этого удовольствия я не дам себя лишить, хотя окружающий мир ежечасно пытается убедить меня в обратном, да будь против меня большинство людей – мне все нипочем, я скорее сочту неправыми их, нежели себя. Тут я поступаю точно так же, как и с моим мнением о великих немецких писателях, которых почитаю, люблю и ценю не меньше оттого, что подавляющее большинство современных немцев поступает наоборот и предпочитает фейерверк звездам. Спору нет, ракеты красивы, ракеты восхитительны, да здравствуют ракеты! Однако звезды! Однако взор и мысль, озаренные их тихим сиянием, озаренные их уходящей в беспредельность музыкой вселенной, – это же, друзья мои, как хотите, нечто несравнимое!

И, берясь сделать набросок своего пребывания на водах, я, поздний маленький писатель, припоминаю десятки путешествий на воды и поездок в Баден, описанных и хорошими и плохими авторами, и восхищенно и почтительно думаю о звезде среди ракет, о золотом среди кредиток, о райской птице среди воробьев, о «Путешествии на воды доктора Катценбергера», что не мешает мне, однако, решиться запустить вслед звезде свою ракету, вслед райской птице своего воробышка. Лети же, мой воробышек! Взвивайся, мой маленький бумажный змей!

## Курортник

Еще только поезд прибыл в Баден, еще только я кое-как, с трудом, спустился с подножки вагона, как магия Бадена не замедлила обнаружиться. Стоя на сырой

бетонированной площадке перрона и высматривая гостиничного портье, я увидел, как с того же самого поезда, с каким прибыл я, сошло по меньшей мере трое или четверо коллег-ишиатиков, их легко было распознать по опасливому подтягиванию зада, нерешительной поступи и несколько беспомощной и плаксивой игре физиономии, сопровождавшей их осторожные движения. Хотя у каждого из них была своя особенность, своя разновидность болезни, а потому и своя манера ходить, замирать, быть скованным и прихрамывать и у каждого своя индивидуальная, особая игра физиономии, все же общее перевешивало, и я их всех с первого взгляда признал за ишиатиков, за своих братьев, своих коллег. Кто однажды познакомился с проделками nervus ichiadicus[2 - Седалищный нерв (лат.).] не по учебнику, а на опыте, именуемом врачами «субъективные ощущения», у того глаз наметан. Я тотчас остановился и стал разглядывать этих заклейменных. И что же, все трое или четверо гримасничали еще страшнее, чем я, тяжелее опирались на палку, с большим трепетом подтягивали окорока, боязливее и нерешительнее переставляли ноги, все были больнее, несчастнее, достойнее жалости, чем я, и это подействовало на меня крайне благотворно, да и на протяжении всего моего пребывания в Бадене неизменно, вновь и вновь, мне служило неиссякаемым источником утешения то обстоятельство, что вокруг люди хромали, люди ползали, люди стонали, люди передвигались в креслах-каталках, были куда более больны, чем я, и имели куда меньше, чем я, оснований для хорошего настроения и надежд! Так я сразу, с первой же минуты, постиг один из главных секретов и магических свойств всех курортов и с истинным удовольствием наслаждался своим открытием: сообщество товарищей по несчастью, socios habere malorum.

А когда я наконец покинул платформу и с удовольствием позволил нести себя плавно спускавшейся под гору улице, ведущей к ванным заведениям, это ценное наблюдение с каждым шагом подкреплялось и усиливалось: всюду плелись курортники, устало и несколько скособочившись, они сидели на окрашенных зеленой краской скамьях для отдыха, группками проходили мимо, прихрамывая и болтая. В кресле-каталке провезли женщину, она устало улыбалась, держа в болезненной руке полузавядший цветок, а позади выступала пышущая здоровьем и энергией, цветущая сиделка. Пожилой господин вышел из лавки, где ревматики покупают открытки, пепельницы и пресс-папье (почему им требуется такая уйма этого добра, навсегда останется для меня загадкой), – и этот вышедший из лавки пожилой господин тратил на каждую ступеньку крыльца никак не меньше минуты и взирал на расстилавшуюся перед ним улицу, как усталый и потерявший в себе уверенность человек взирает на поставленную перед ним сложнейшую задачу. Молодой еще мужчина в защитного цвета военной фуражке на косматой голове, работая сразу двумя палками, настойчиво,

но с трудом продвигался вперед. Ох уж одни эти палки, попадавшиеся здесь везде и всюду, эти чертовы увесистые больничные палки, оканчивающиеся толстенным резиновым наконечником и, словно пиявки или паразиты, присасывающиеся к асфальту! Я, правда, тоже ходил с палкой, изящной ротанговой тросточкой, – не скрою, очень мне помогавшей, – но при необходимости вполне мог обойтись без нее, и, уж во всяком случае, никто никогда не видел меня с такой мрачной дубинкой на резине! Нет, это совершенно очевидно и должно было каждому бросаться в глаза, как легко и непринужденно я фланировал по этой милой улице, как редко, скорее играя, пользовался ротанговой тросточкой, собственно предметом щегольства, простым украшением, как неприметно и безобидно у меня проявлялись, вернее, были лишь обозначены, лишь едва намечены признаки ишиаса, боязливое подтягивание бедер, да и вообще как подтянуто и ловко я шагал по тротуару, как был молод и здоров по сравнению со всеми этими дряхлыми, несчастными, увечными братьями и сестрами, чьи недуги так явно, так неприкрыто, так неумолимо представали взору! С каждым шагом я набирался уверенности, вкушал сознание своего превосходства, я уже чувствовал себя почти здоровым, во всяком случае неизмеримо менее больным, чем все эти несчастные. Уж если такие полукалеки и хромые еще надеются на исцеление, такие вот люди с палками на резине, если Баден способен помочь таким, тогда мое пустяковое, только начавшееся заболевание должно здесь исчезнуть, словно снег под горячим дуновением фена, тогда я для врача истинная находка, благодарнейший феномен, своего рода маленькое чудо исцелимости.

Дружелюбно смотрел я на эти ободряющие силуэты, преисполненный сочувствия и доброжелательности. Из кондитерской, переваливаясь, выползла пожилая дама; очевидно давно уже махнув рукой на всякие попытки скрыть свою немощь, она не отказывала себе ни в малейшем рефлекторном движении, прибегала к любому мыслимому облегчению, любой напрашивающейся игре вспомогательной мускулатуры и, размашисто пробиваясь на противоположную сторону улицы, вихляла, балансировала и плыла, точь-в-точь морская львица, только помедленнее. Всем сердцем я ее приветствовал и мысленно кричал ей «браво», я благословлял морскую львицу, благословлял Баден и счастливую свою судьбу. Ведь меня окружали соперники, окружали конкуренты, перед которыми у меня были все преимущества. Как хорошо, что я так своевременно сюда приехал, еще на самой первой стадии легкого ишиаса, еще при самых первых, слабеньких симптомах начинающейся подагры! И, обернувшись, опираясь на трость, я долго провожал глазами морскую львицу с тем знакомым каждому приятным чувством, которое доказывает нам, что язык не нашел еще слов для сложных душевных движений, ибо такие языковые противоречия, как злорадство и сострадание,

здесь были теснейшим образом переплетены. Господи, несчастная женщина! Вот до чего можно докатиться!

Но даже в самый окрыляющий миг душевного подъема, даже среди блаженной эйфории этих радостных минут во мне не окончательно умолк докучливый голос, к которому мы так неохотно прислушиваемся и который, однако, так нам необходим, голос рассудка, и он неприятно трезвым тоном, тихо и с сожалением, указывал мне, что мои утешительные заключения зиждутся только на ошибке, на порочном методе, что хотя я, слегка прихрамывающий литератор с ротанговой тростью, благословляя судьбу, сравниваю себя с каждым колченогим, каждым сильно хромающим и скрюченным больным, но почему-то не принимаю в расчет бесконечную шкалу симптомов по другую сторону моей персоны и попросту не замечаю тех больных, кто моложе, прямее, подвижнее и здоровее меня. Вернее, я их замечал, но предпочитал не сравнивать с собой, более того, первые два дня я даже в простоте душевной думал, что все те, кого я встречал весело гуляющими, без палок и видимых телесных изъянов и хромоты, отнюдь не мои братья и коллеги, не курортники и конкуренты, а нормальные, здоровые местные жители. Что могут быть ишиатики, расхаживающие вовсе без палок и вовсе без судорожных телодвижений, что есть немало подагриков, по внешнему виду которых никто, в том числе и психолог, никогда не догадается об их болезни, что я, со своей слегка деформированной походкой и ротанговой тросточкой, отнюдь не нахожусь на первой, безобидной, низшей ступени нарушения обмена веществ, что я возбуждаю не только зависть настоящих хромых и колченогих, но и насмешливую жалость многочисленных коллег, служа им в свою очередь утешением и морским львом, – короче говоря, что мои проницательные наблюдения и сопоставления степеней болезни отнюдь не беспристрастное исследование, а единственно оптимистическое самообольщение, – сознание всего этого дошло до меня, как водится, лишь постепенно, по прошествии нескольких дней.

Итак, я черпал радость этого первого дня полной чашей, я предавался оргиям наивного самоутверждения и был прав. Всматриваясь в попадавшихся мне всюду курортников, более хворых своих братьев, польщенный видом каждого калеки, отзываясь радостным состраданием и участливым самодовольством на каждое встречное кресло-каталку, я легким шагом спускался по улице, этой удивительно покойной, удивительно удобно проложенной улице, по которой прибывающих больных катят с вокзала вниз к ваннам; плавно изгибаясь, с приятным ровным уклоном она ведет вниз к старому ванному заведению, чтобы там, подобно иссякающей реке, затеряться в подъездах курортных гостиниц.

Исполненный благих намерений и радужных надежд, я приближался к «Святому подворью», где думал остановиться. Надо только выдержать здесь три-четыре недели, ежедневно принимать ванны, как можно больше гулять и по возможности избегать забот и волнений. Временами, вероятно, будет несколько однообразно, придется и поскучать, поскольку деятельная жизнь здесь противопоказана, и мне, старому нелюдиму, не терпящему и лишь с трудом способному переносить стадную и гостиничную жизнь, конечно, еще предстоит одолеть немало препятствий и не раз себя осаживать. Но, без сомнения, эта новая, совершенно мне непривычная жизнь, несмотря на, быть может, некоторый налет буржуазности и пошлости, позволит мне также узнать много забавного и интересного – и разве после долгих лет мирно-одичалой, деревенски уединенной жизни, заполненной одной только работой, мне не крайне необходимо на какое-то время вновь побыть среди людей? И главное: за всеми препятствиями, за начинающимися сегодня неделями курортного лечения, маячил день, когда, покинув гостиницу, я по этой самой улице бодро поднимусь в гору, день, когда помолодевший и здоровый, с эластично-подвижными коленями и бедрами, я распрощаюсь с Баденом и, приплясывая, направлюсь по этой приятной улице на вокзал.

Жаль только, что в ту самую минуту, когда я входил в гостиницу, принялся накрапывать дождь.

– Вы привезли нам плохую погоду, – отвечая на мое приветствие, с улыбкой пожурила меня необычайно любезная фрейлейн в конторе.

– Да, – растерянно ответил я.

Но как же так? Неужели это в самом деле я вызвал этот дождь, сотворил его и привез с собой в Баден? Что плоский здравый смысл отвергал такую возможность, не могло мне, теологу и мистику, служить оправданием. Ведь так же как судьба и характер лишь разные наименования одного понятия, так же как я в известном смысле сам избрал и сотворил свое имя и профессию, свой возраст, черты лица, свой ишиас и никого, кроме себя, не вправе считать за них ответственным, так же, видимо, обстояло и с этим дождем. Я был готов взять его на себя.

Сообщив это фрейлейн и заполнив листок для приезжих, я приступил к тем переговорам о номере, которые нормальному человеку просто неведомы, обо всем ужасе которых наивный счастливец даже не подозревает и чья

беспросветность известна лишь попавшему на постоялый двор, привыкшему к уединению и полной тишине, страдающему бессонницей отшельнику и писателю.

Снять номер в гостинице – для нормальных людей сущий пустяк, самое обычное, не вызывающее никаких эмоций дело, с которым справляются за две минуты. Но для нашего брата, для подверженных бессоннице невротиков и психопатов, простейшее это дело перегружено такой бездной воспоминаний, эмоций и фобий, что становится подлинной мукой. Приветливый хозяин гостиницы, симпатичная женщина-администратор, в ответ на нашу робко-настоятельную просьбу показывающие и рекомендующие нам свою самую «тихую комнату», не представляют себе, какую бурю ассоциаций, опасений, иронии и самоиронии будят в нас эти роковые слова. О, как хорошо, как до ужаса знакомы, как известны нам эти тихие комнаты, место наших горчайших мук, наших жесточайших поражений и потаеннейшего нашего позора! Как фальшиво и вероломно, как демонически глядит на нас ее гостеприимная мебель, радушные ковры и веселые обои! Как зловеще, как уничтожающе щерится вон та заложенная дверь в соседний номер, будто назло имеющаяся в большинстве таких комнат и часто, в сознании неблаговидной своей роли, стыдливо прячущаяся за портьеру! Как страдальчески-покорно поднимаем мы глаза к побеленному потолку, который в минуты осмотра склабится в безмолвной пустоте, чтобы затем, вечером и утром, ходить ходуном под шагами живущих наверху постояльцев – ах, если бы только шагов, это знакомые и, стало быть, не самые страшные враги! Нет, наступает роковой час, и по бесхитростно белой плоскости, так же как сквозь тонкую дверь и стенку, прокатываются нежданные шумы и вибрации: тут и сброшенные башмаки, и уроненная на пол палка, и мощные ритмические сотрясения (указывающие на оздоровительную гимнастику), опрокинутые стулья, свалившаяся с ночного столика книга или рюмка, передвигаемые чемоданы и мебель. Добавьте еще человеческие голоса, диалоги и монологи, кашель, смех, храпение! И наконец, что всего хуже, непонятные, необъяснимые шумы, все те диковинные, призрачные звуки, которые мы не в состоянии определить, чье происхождение и чью возможную длительность никак не угадаешь, этот стук и возня домовых: треск, шепот, тиканье, вздохи, всхлипы, шуршание, стоны, скрипы, постукивания, пыхтение – одному Богу известно, какой разнообразный невидимый оркестр скрывается на нескольких квадратных метрах гостиничного номера!

Так что выбор комнаты для нашего брата чрезвычайно щекотливое, ответственное и притом довольно-таки безнадежное дело, тут надо не упустить из виду десятки вещей, сотни возможностей. В одной комнате стенной шкаф, в

другой – отопительные трубы, в третьей – дудящий на окарине сосед готовит тебе акустические сюрпризы. И поскольку, как показывает опыт, ни об одной комнате нельзя с уверенностью сказать, что она обеспечит тебе желанный покой и мирный сон, ибо даже самая, казалось бы, покойная таит в себе сюрпризы (не поселился ли я однажды, ограждая себя сверху и с боков от беспокойных соседей, в одинокой каморке для прислуги на шестом этаже и, вместо отвергнутого современника, обнаружил на тряском чердаке под собой полчища резвящихся крыс), не лучше ли вообще отказаться от выбора и попросту очертя голову действовать наобум, предоставив все случаю? Чем мучиться и волноваться, чтобы спустя несколько часов с грустью и разочарованием все равно оказаться лицом к лицу с неизбежным, не разумнее ли предоставить все слепой судьбе и, не выбирая, брать первый же предложенный тебе номер? Несомненно, разумнее. Однако мы так не поступаем или же поступаем в редчайших случаях, потому что если б единственно разум и стремление избегать тревог руководили нашими поступками, что бы это была за жизнь? Разве не знаем мы, что судьба наша с рождения предопределена и неотвратима, и, зная это, тем не менее горячо и страстно цепляемся за иллюзию выбора, свободу воли? Разве каждый из нас, выбирая врача, когда заболевает, работу и место жительства, возлюбленную и невесту, не мог бы с одинаковым, а может, и большим успехом предоставить все случаю – и тем не менее каждый выбирает, каждый тратит на все это массу энергии, труда, душевных сил! Иной поступает так простодушно, с ребяческой увлеченностью, веря в свое могущество, убежденный в возможности повлиять на судьбу; другой, может, и скептически, глубоко убежденный в бесполезности своих усилий, но в той же мере убежденный, что действовать и стремиться, выбирать и мучиться лучше, жизненней, пристойнее или хотя бы забавнее, чем коснеть в бездеятельной покорности. Точно так же поступаю и я, наивный искатель комнат, когда, несмотря на глубокое убеждение в тщетности и комической бессмысленности своих усилий, всякий раз наново веду нескончаемые переговоры о будущем номере, добросовестно осведомляюсь о соседях, дверях одинарных и двойных… и прочем и прочем. Это игра, в которую я играю, своего рода спорт, когда в таком пустяковом и обыденном вопросе я вновь и вновь доверяюсь иллюзии, фиктивным правилам игры, будто к такого рода вещам вообще возможен разумный подход и они того достойны. Я действую тут так же умно или так же безрассудно, как ребенок при покупке сластей или игрок, делающий ставку на основе математических выкладок. В подобных ситуациях все мы хорошо знаем, что имеем дело с чистой случайностью, но, следуя глубочайшей внутренней потребности, действуем тем не менее так, будто случайности нет и быть не может и будто все и вся на свете подчинено нашему разумному мышлению и логике.

Итак, я подробно обсуждаю с услужливой фрейлейн все пять или шесть свободных комнат. Об одной я узнаю, что за стенкой живет скрипачка и ежедневно по два часа упражняется – как-никак нечто положительное, теперь, при сократившемся выборе, я руководствуюсь наибольшим удалением от этого номера и этажа. Впрочем, у меня и без того в отношении условий и возможностей гостиничной акустики такое чутье и дар предвидения, которые можно только пожелать многим архитекторам. Короче говоря, я поступил осмотрительно, поступил разумно, я действовал продуманно и добросовестно, как и подобает действовать человеку нервному при выборе номера, с тем обычным итогом, который можно сформулировать примерно так: «Хоть это и бесполезно и в выбранной комнате меня, без сомнения, ждут те же сюрпризы и разочарования, что и во всякой другой, все же я выполнил свой долг, я старался, ну а в остальном пусть уж будет воля Божья». Но одновременно, как всегда в таких случаях, где-то в самой глубине сознания другой голос, потише, мне шептал: «А не лучше ли было бы предоставить все Богу и отказаться от этой комедии?» Я и слышал привычный голос, и не слышал его, и, так как я находился в превосходном настроении, процедура прошла гладко, я с удовлетворением увидел, как мой чемодан исчез в 65-м номере, и, поскольку приближался час, когда мне следовало явиться к врачу, отправился на прием.

И что ж, здесь тоже все обошлось хорошо. Задним числом признаюсь, я несколько опасался этого визита, не потому, что меня страшил сокрушительный диагноз, а потому, что для меня врачи принадлежат к духовной иерархии, потому, что я отношу врача к высшему рангу и, разочаровавшись в нем, тяжело это переношу, тогда как если меня разочаровывает железнодорожный или банковский служащий или хотя бы адвокат, особенно, не расстраиваюсь. Сам не знаю толком почему, я жду от врача какого-то остатка того гуманизма, который предполагает знание латыни и греческого и известную философскую подготовку, гуманизма, увы, вовсе не нужного для большинства профессий и современной жизни. Вообще, от души радуясь всему новому и революционному, я в данном случае весьма консервативен, я требую от представителей образованного круга известного идеализма, известной готовности понять человека и поспорить с ним, не считаясь с материальной выгодой, короче говоря, проявления гуманизма, хотя знаю, что гуманизма этого в действительности давно уже не существует и даже видимость его скоро встретишь разве что в музеях восковых фигур.

После недолгого ожидания меня провели в кабинет; прекрасная, со вкусом обставленная комната сразу внушила мне доверие. Поплескав, как принято, водой в соседнем помещении, ко мне вышел врач, интеллигентное лицо обещало

понимание, и мы приветствовали друг друга, подобно двум корректным боксерам перед боем, сердечным рукопожатием. Раунд начали осторожно, прощупывали друг друга, нерешительно пробовали первые удары. Пока мы все еще оставались на нейтральной почве, разговор шел об обмене веществ, питании, возрасте, перенесенных болезнях и был совершенно безобиден, лишь при отдельных словах взгляды наши скрещивались, возвещая готовность к бою. Врач пускал в ход обороты из медицинского тайного языка, которые я лишь весьма приблизительно расшифровывал, но они удачно расцвечивали его речь и давали ему надо мной ощутимое преимущество. Тем не менее уже спустя несколько минут мне стало ясно, что с этим врачом нечего бояться того жестокого разочарования, какое людям моего склада особенно огорчительно терпеть от врачей: когда за подкупающим фасадом ума и знаний наталкиваешься на закоснелую догматику, первое же положение которой постулирует, что взгляды, образ мышления и терминология пациента – чисто субъективные явления, а врача – напротив, обладают строго объективной ценностью. Нет, тут мне попался врач, с которым имело смысл сойтись в словесном поединке, он был не только эрудирован, как того требовала его профессия, он был мудр, в какой степени – я еще не мог определить, то есть способен ощущать относительность всех духовных ценностей. Среди образованных и умных людей сплошь и рядом случается, что каждый воспринимает склад ума и язык, догматику и верования другого как чисто субъективные, как всего лишь приближение, всего лишь ускользающую параболу. Но чтобы каждый признал то же самое и в себе самом и к себе самому приложил и каждый как за собой, так и за противником оставил право на только ему присущие, собственные, душевный склад, образ мышления и язык и чтобы, стало быть, двое людей, обмениваясь мыслями, постоянно отдавали бы себе отчет в ненадежности своего оружия, многозначности всех слов, недостижимости действительно точного выражения, а потому и необходимости всячески идти другому навстречу, обоюдной доброй воли и интеллектуального рыцарства – такие прекрасные, казалось бы, само собой разумеющиеся между двумя мыслящими существами отношения практически встречаются до того редко, что мы от души рады всякому, даже отдаленному их подобию, всякому, пусть частичному, их осуществлению. Но тут, с этим специалистом по болезням обмена веществ, во мне блеснула какая-то надежда на возможность такого понимания и общения.

Обследование – правда, еще без анализа крови и рентгена – дало обнадеживающие результаты. Сердце в норме, дыхание превосходно, кровяное давление вполне приличное, зато выявились несомненные признаки ишиаса, отдельные подагрические наросты и некоторая общая вялость всей

мускулатуры. Пока доктор снова мыл руки, в нашей беседе наступила краткая пауза.

После того, как и следовало ожидать, произошел перелом, нейтральная почва была оставлена, и мой партнер двинулся в наступление осторожно акцентированным, будто невзначай предложенным вопросом:

– А вы не думаете, что ваша болезнь отчасти может вызываться также психикой?

Итак, ожидаемое, заранее предвиденное произошло. Объективные данные осмотра не отвечали полностью моим жалобам, налицо оказался подозрительный излишек восприимчивости, моя субъективная реакция на подагрические боли не соответствовала предусмотренной средней норме, и вот во мне признали невротика. Что ж, примем бой!

Так же осторожно и так же словно бы между прочим я пояснил, что не верю в болезни и недомогания, вызываемые «также психикой», что в моей собственной биологии и мифологии «психическое» является не каким-то побочным фактором рядом с физическим, а первичной силой и что, следовательно, я считаю любое наше состояние, любое чувство радости и печали, равно как и любую болезнь, любой несчастный случай и смерть, психогенными, порожденными душой. Если у меня на пальцах вырастают подагрические шишки, то это моя душа, это – высшее жизненное начало, «оно» во мне самовыражается в пластическом материале. Если душа болит, то она способна выражать это самыми различными способами, и что у одного принимает форму мочевой кислоты, готовя разрушение его «я», то у другого оказывает подобную же услугу, выступая в обличье алкоголизма, а у третьего уплотняется в кусочек свинца, внезапно пробивающего ему черепную коробку. При этом я согласился, что задача и возможности лечащего врача, как видно, в большинстве случаев должны поневоле ограничиваться установлением материальных, то есть вторичных, изменений и борьбой с ними материальными же средствами.

Я и сейчас вполне допускал, что доктор от меня попросту откажется. Пусть он не скажет напрямик: «Ну и чушь же вы городите, уважаемый!» – но, возможно, он с чуть излишне снисходительной улыбкой станет мне поддакивать, говорить банальности о влиянии настроений, особенно на артистическую душу, и помимо этих общих мест еще, того и гляди, вытащит на свет роковое словечко «фантазерство». Слово это – пробный камень, чувствительнейшие весы для духовных величин, которые заурядный ученый спешит окрестить фантазиями.

Он прибегает к этому удобному словечку всякий раз, когда надо измерить и описать жизненные явления, для которых и наличные материальные измерительные приборы слишком грубы, и желание и способности говорящего недостаточны. Естествоиспытатель ведь, как правило, мало что знает; в частности, он не знает, что именно для летучих, подвижных ценностей, которые он именует фантазиями, вне естественных наук существуют старые, очень тонкие методы измерения и выражения, что и Фома Аквинский и Моцарт, каждый на своем языке, ничего другого и не делали, как с величайшей точностью взвешивали эти так называемые фантазии. Мог ли я ждать от курортного врача, будь он даже светилом в своей области, такой чуткости мысли? Но я поверил в него и не обманулся в своих ожиданиях. Меня поняли. Молодчина врач осознал, что в моем лице ему противостоит не чужая догматика, а некая игра, некое искусство, некая музыка, где нет и не может быть правоты и споров, а лишь ответное звучание или уж полное банкротство. И он не сплоховал, меня поняли и признали, признали, разумеется, не в качестве правого, каковым я не являюсь, да на что и не претендую, но ищущим, мыслящим, антиподом, коллегой с другого, очень отдаленного, но столь же полноправного факультета.

И тут мое хорошее настроение, поднятое уже отметками по кровяному давлению и дыханию, повысилось еще больше. Как бы ни обернулось теперь дело с дождливой погодой, с ишиасом и с лечением – главное, я не попал в руки к варвару, передо мной был человек, коллега, был врач с гибким и разносторонним мышлением! Не то чтобы я рассчитывал часто и подолгу с ним беседовать, обсуждать с ним всевозможные проблемы. Нет, в этом не было надобности, хотя, как приятная возможность, это меня и радовало; достаточно того, что человек, которому я на какой-то срок давал над собой власть и вынужден был довериться, обладал в моих глазах человеческим аттестатом зрелости. Пусть доктор на сегодняшний день считает меня хотя и мыслящим, но, к сожалению, несколько невротическим пациентом, возможно, придет час, когда он откроет и верхние этажи моего «я», и подлинная моя вера, личная моя философия вступит в игру, вступит в состязание с его мировоззрением. Тут и моя теория относительно невротиков, опирающаяся на Ницше и Гамсуна, может быть, немножко продвинется вперед. Впрочем, не так уж важно. Рассматривать невротический характер не как болезнь, а как некий пусть мучительный, но весьма положительный процесс сублимации – мысль заманчивая. Однако важнее с таким характером прожить, нежели его сформулировать.

Очень довольный, с длинным перечнем лечебных предписаний в кармане, я распрощался с врачом. Лежавшая у меня в бумажнике записка с

рекомендациями – к выполнению их следовало приступить завтра же с раннего утра – сулила мне всевозможные полезные и занимательные вещи: ванны, питье минеральной воды, диатермию, кварц, лечебную гимнастику. Так что скучать особенно не придется.

И если вечер первого моего дня на курорте тоже прошел во всех отношениях хорошо и приятно, то в этом заслуга хозяина гостиницы. Ужин, к удивлению моему обернувшийся самым что ни на есть изысканным пиршеством, блистал такими лакомыми, давно не пробованными мною блюдами, как «гноччи» с гусиной печенкой, тушеная баранина по-ирландски, земляничное мороженое. А позднее я сидел, потягивая красное вино и оживленно беседуя с хозяином дома, в чудесной старинной гостиной, за старым массивным столом орехового дерева и радовался тому, что нахожу отклик у совершенно незнакомого человека, другого происхождения, другой профессии, других устремлений и другого образа жизни, что сам способен разделять его радости и горести и что он разделяет многие мои взгляды. Мы не пели друг другу дифирамбов, но быстро нашли точки соприкосновения и шли друг другу навстречу с той искренностью, которая легко переходит в симпатию.

Выйдя перед сном немного прогуляться, я видел звезды, отраженные в дождевых лужах, видел в ночном ветру над громко шумящим потоком несколько редкостно красивых старых деревьев. Они и завтра будут красивы, но в эту минуту они обладали той магической, неповторимой красотой, которая исходит из собственной нашей души и, по убеждению греков, вспыхивает в нас, лишь когда на нас взглянет Эрос.

## Распорядок дня

Взявшись описать, как проходит день на курорте, я по справедливости беру самый обыкновенный, будничный день, день, ничем не примечательный, эдакий наполовину заволоченный, наполовину голубой нейтральный денек, без особых происшествий извне и без особых предзнаменований и обольщений изнутри. Ибо, разумеется, в зависимости от состояния и хода лечения, причем не только у нервных литераторов, но и у всего полка ишиатиков, здесь бывают дни боли и уныния и легкие светлые дни хорошего самочувствия и расцветающих надежд, дни, когда мы скачем, и такие, когда мы едва ползаем или, отчаявшись,

остаемся лежать в постели.

Но, как бы я ни старался воссоздать такой умеренный, такой нормально-обывательский плюс-минус средний день, мне все же не избежать одного неприятного признания, поскольку любой день, а тем более лечебно-курортный, к сожалению, начинается с утра. Наверно, это у меня связано с моим глубочайшим недостатком и пороком, с плохим сном, да и вообще всячески отвечает моей натуре, моей философии, моему темпераменту и характеру, иначе как объяснить, что утро, воспетое в стольких чудесных стихах, для меня самое нелюбимое время дня? Конечно, это стыд и срам, и мне тяжело в этом признаться, но какой смысл в писательстве, если за ним не стоит стремление к истине? Утро, прославленное время свежести, обновления, молодого радостного задора, для меня плачевно, оно мне неприятно и мучительно, мы друг друга не выносим. Причем я отнюдь не лишен понимания, способности сопереживать ту лучезарную радость утра, которая так бодряще и светло звучит во многих стихах Эйхендорфа и Мёрике; в стихах, в картинах и в воспоминаниях я воспринимаю утро столь же поэтично, и с детства у меня даже сохранилось не совсем еще изгладившееся воспоминание о настоящем утреннем воздухе, хотя я, уж конечно, много лет ни разу не испытывал по утрам никакой радости. И даже в самой громогласной хвале свежему утреннему воздуху, какую я только знаю, в сочиненной Вольфом музыке к стихам Эйхендорфа «Утро – моя радость», мне слышится какая-то фальшивая нотка, и, как чудесно ни звучала бы музыка и как ни убеждает меня утреннее настроение самого Эйхендорфа, в утреннюю радость Гуго Вольфа я что-то не могу целиком поверить и склонен думать, что он разрешил себе здесь мечтательно-поэтическое, воображаемо-желанное, а не пережитое прославление утра. Все, что отягощает и усложняет мне жизнь, превращая ее в отпугивающую, даже неприятную повинность, заявляет о себе по утрам непомерно громко, встает передо мной непомерно большим. Все, что мою жизнь красит, услаждает, делает необыкновенной, все милости ее, все волшебство, вся музыка по утрам отступают и едва различимы, звучат издалека, скорее как сказание и легенда. Из чересчур мелкой могилы своего плохого, короткого, часто прерываемого сна я встаю по утрам не окрыленный и воскресший, а вялый, разбитый и нерешительный, безо всякой защиты и панциря против врывающегося внешнего мира, который сообщает моим восприимчивым утренним нервам все свои колебания, словно через мощный усилительный аппарат, обрушивает на меня все звуки как бы в мегафон. Лишь с полудня жизнь опять становится приемлемой и ласковой, а в счастливые дни, под вечер и вечером, – чудесной, лучезарной, воспаряющей, озаренной изнутри мягким Господним светом, в ней закон и гармония, волшебство и музыка, и она щедро вознаграждает меня за все скверные часы.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Местный гений (лат.).

2

Седалищный нерв (лат.).

---

Купить: https://tellnovel.com/german-gesse/kurortnik

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити